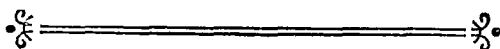


Л. Н. ТОЛСТОЙ

АННА КАРЕНИНА

Р О М А Н
В ВОСЬМИ ЧАСТЯХ

Части 5—8



*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960*

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Толстой. Собрание сочинений
в четырнадцати томах, 9, М., 1952

Оформление художника

Н. КРЫЛОВА

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени; но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это, или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны.

Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни; он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьич и княгиня руководили его в том,

что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьич посоветовал ехать за границу. Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много.

— Однако послушай, — сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых, — есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?

— Нет. А что?

— Без этого нельзя венчать.

— Ай, ай, ай! — вскрикнул Левин. — Я ведь, кажется, уже лет девять не говел. Я и не подумал.

— Хорошо! — смеясь, сказал Степан Аркадьич, — а меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть.

— Когда же? Четыре дня осталось.

Степан Аркадьич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему, размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможной. Теперь, в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет

или лгать, или кошунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии делать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство не говей, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно.

— Да и что тебе стоит — два дня? И он милый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь.

Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до семнадцати лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов; но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее.

Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайною живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове.

Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди.

В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей.

Молодой дьякон, с двумя резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником, встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стезы,

стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: «Господи, помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и как потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. «Она взяла потом мою руку и рассматривала линии: — У тебя славная рука, — сказала она». И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится, — думал он. — Нет, кажется, опять сначала, — подумал он, прислушиваясь к молитвам. — Нет, кончается; вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом».

Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроится», — подумал он и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидел священника. Старичок священник, с редкою полуседею бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину.

— Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь, — сказал он, указывая на распятие. — Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь? — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль.

— Я сомневался, я сомневаюсь во всем, — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.

Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал:

— Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердый господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете? — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.

— Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении.

— Сомнение свойственно слабости человеческой, — повторил те же слова священник. — В чем же преимущественно вы сомневаетесь?

— Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании бога, — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.

— Какие же могут быть сомнения в существовании бога? — с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он.

Левин молчал.

— Какое же вы можете иметь сомнение о творце, когда вы воззрите на творения его? — продолжал священник быстрым, привычным говором. — Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облек землю в красоту ее? Как же без творца? — сказал он, вопросительно взглянув на Левина.

Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.

— Я не знаю, — сказал он.

— Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что бог сотворил все? — с веселым недоумением сказал священник.

— Я не понимаю ничего, — сказал Левин, краснея и чувствуя, что слова его глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении.

— Молитесь богу и просите его. Даже святые отцы имели сомнения и просили бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь богу, просите его. Молитесь богу, — повторил он поспешно.

Священник помолчал несколько времени, как бы за-
думавшись.

— Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? — прибавил он с улыбкой. — Прекрасная девица!

— Да, — краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он.

И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему:

— Вы собираетесь вступить в брак, и бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание можете дать вы вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? — сказал он с кроткою укоризной. — Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: «Папаша! кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире, — землю, воды, солнце, цветы, травы?» Неужели вы скажете ему: «Я не знаю»? Вы не можете не знать, когда господь бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: «Что ждет меня в загробной жизни?» Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! — сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами.

Левин ничего не отвечал теперь — не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов; а когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать.

— Вы вступаете в пору жизни, — продолжал священник, — когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь богу, чтоб он по своей благодати помог вам и помиловал, — заключил он. — «Господь и бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо...» — И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его.

Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить.

«Разумеется, не теперь, — думал Левин, — но когда-нибудь после». Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других и за которое он упрекал приятеля своего Свияжского.

Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаке, которую учили скакать через обруч и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.

II

В день свадьбы Левин, по обычаю (на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор.

— Ведь вот, — говорил Катавасов, по привычке, приобретенной на кафедре, растягивая свои слова, — какой был способный малый наш приятель Константин Дмитрич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет.

И науку любил тогда, по выходе из университета, и интересы имел человеческие; теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтоб обманывать себя, и другая — чтоб оправдывать этот обман.

— Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал, — сказал Сергей Иванович.

— Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа.

— Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь! — сказал Левин. — Пожалуйста, позовите меня на свадьбу.

— Я влюблен уже.

— Да, в каракатицу. Ты знаешь, — обратился Левин к брату, — Михаил Семеныч пишет сочинение о питании и...

— Ну, уж не путайте! Это все равно, о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу.

— Но она не помешает вам любить жену.

— Она-то не помешает, да жена помешает.

— Отчего же?

— А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту, — ну посмотрите!

— А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя, — сказал Чириков.

— Ну, уж вы их без меня возьмете.

— Вот и правда, — сказал Сергей Иванович. — Да и впредь простись с медвежьей охотой, — жена не пустит!

Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей.

— А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота, — сказал Чириков.

Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал.

— Недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью, — сказал Сергей Иванович. — Как ни будь счастлив, все-таки жаль свободы.

— А признайтесь, есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть?

— Наверно есть, но не признается! — сказал Катавасов и громко захохотал.

— Что же, окошко открыто... Поедем сейчас в Тверь! Одна медведица, на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом! А тут как хотят, — сказал, улыбаясь, Чириков.

— Ну вот ей-богу, — улыбаясь, сказал Левин, — что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе!

— Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете, — сказал Катавасов. — Погодите, как разберетесь немножко, то найдете!

— Нет, я бы чувствовал хотя немного, что, кроме своего чувства (он не хотел сказать при нем — любви)... и счастья, все-таки жаль потерять свободу... Напротив, я этой-то потере свободы и рад.

— Плохо! Безнадежный субъект! — сказал Катавасов. — Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечтаний сбылась. И это уже будет такое счастье, какое не бывало на земле!

Вскоре после обеда гости уехали, чтоб успеть переехать к свадьбе.

Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя: есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили? Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы, — вот это счастье!»

«Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» — вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем.

«Что как она не любит меня? Что как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что если она сама не знает того, что делает? — спрашивал он себя. — Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто

этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему.

Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя! — сказал он себе с отчаянием. — Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность!!» С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней.

Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу.

— Ах! — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. — Как ты, как же вы (до этого последнего дня она говорила ему то «ты», то «вы»)? Вот не ждала! А я разбираю мои девичьи платья, кому какое...

— А! это очень хорошо! — сказал он, мрачно глядя на девушку.

— Уйди, Дуняша, я позову тогда, — сказала Кити. — Что с тобой? — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее напал страх.

— Кити! я мучаюсь. Я не могу один мучаться, — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь перед ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтоб она сама разуверила его. — Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить.

— Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?

— То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если... лучше скажи, — говорил он, не глядя на нее. — Я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят; все лучше, чем несчастье... Все лучше теперь, пока есть время...

— Я не понимаю, — испуганно отвечала она, — то есть что ты хочешь отказаться... что не надо?

— Да, если ты не любишь меня.

— Ты с ума сошел! — вскрикнула она, покраснев от досады.

Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему.

— Что ты думаешь? скажи все.

— Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?

— Боже мой! что же я могу?.. — сказала она и заплакала.

— Ах, что я сделал! — вскрикнул он и, став перед ней на колени, стал целовать ее руки.

Когда княгиня через пять минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже, отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуныше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб это платье никому не отдавать, а дать Дуныше голубое.

— Как ты не понимаешь? Она брюнетка, и ей не будет идти... У меня это все рассчитано.

Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет.

— Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты еще ее расстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему. — Убирайся, убирайся, любезный.

Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат, Дарья Александровна и Степан Аркадьич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой, с тем чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был везти образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад... Вообще соображений, весьма сложных,

было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого.

Из благословенья образом ничего не вышло. Степан Аркадьич стал в комически-торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велел Левину кланяться в землю, благословил его с доброю и насмешливою улыбкой и поцеловал его троекратно; то же сделала и Дарья Александровна и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предназначениях движения экипажей.

— Ну, так вот что мы сделаем: ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович уже если бы был так добр заехать, а потом послать.

— Что же, я очень рад.

— А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? — сказал Степан Аркадьич.

— Отправлены, — отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.

III

Толпа народа, в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки.

Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспреданно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари — все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и

невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая или умиловившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе, налево. И родные и посторонние уже прошли чрез все фазы ожидания.

Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором.

Протодьякон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то дьякона узнать, не приехал ли жених, и сам, в лиловой рясе и шитом поясе, чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала: «Однако это странно!», и все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженной матерью и сестрой Львовой стояла в зале щербатского дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь.

Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Но в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно кутившему Степану Аркадьичу.

— Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении! — говорил он.

— Да, глупо, — подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь. — Но успокойся, сейчас привезут.

— Нет, как же! — со сдержанным бешенством говорил Левин. — И эти дурацкие открытые жилеты! Невоз-

можно! — говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки. — И что как вещи увезли уже на железную дорогу! — вскрикнул он с отчаянием.

— Тогда мою наденешь.

— И давно бы так надо.

— Нехорошо быть смешным... погоди! *образуется*.

Дело было в том, что, когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было.

— А рубашка! — вскрикнул Левин.

— Рубашка на вас, — с спокойной улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку; она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать.

Наконец виноватый Кузьма, насилу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой.

— Только застал. Уж на ломового поднимали, — сказал Кузьма.

Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не расправлять раны, Левин бегом бежал по коридору.

— Уж этим не поможешь, — говорил Степан Аркадьич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. — *Образуется, образуется...* — говорю тебе.

IV

— Приехали! — Вот он! — Который? — Помоложе-то, что ль? — А она-то, матушка, ни жива ни мертва! — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.